
Марк ХАРИТОНОВ

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ГЕРМАНА ГЕССЕ

1

Есть книги, которые перечитываешь в разные годы жизни, в разном душевном состоянии как бы заново, открывая для себя не замеченное прежде, переосмысливая, казалось бы, знакомое, погружаясь в новые глубины. Возможно, одна из примет подлинно великой литературы — ее неисчерпаемость.

Я впервые написал о Гессе без малого сорок лет назад¹, когда на русском языке только что появилась — и сразу захватила читательское воображение — «Игра в бисер», однако творчество писателя в целом оставалось у нас еще мало известным. Во всем мире это была пора очередного «ренессанса» Гессе, когда неожиданно для многих писатель оказался одним из кумиров молодежи,

¹ *Харитонов Марк*. «Привычные святыни покидая» // Иностранная литература. 1974. № 12.

взбунтовавшейся против привычных буржуазных ценностей и авторитетов, даже одним из «святых» хиппи и чуть ли не провозвестником так называемой «психоделической революции». Один из ее пропагандистов рекомендовал своим адептам перед каждым наркотическим сеансом читать главы о «магическом театре» из «Степного волка» — как своего рода образцовое пособие по уходу в «другую реальность». Пожалуй, это прежде всего могло бы удивить самого Гессе, человека, с детства воспитанного в духе пиелистской строгости и всю жизнь не только напоминавшего о необходимости оберегать «ядро доброй традиции, дисциплины, методичности», но сохранявшего верность этим принципам в собственном быту и работе. (Точно так же он был бы, скорей всего, немало озадачен, узнав об особом интересе к своему творчеству в Америке — стране, которая представлялась ему в культурном смысле менее всего близкой.)

Но ведь ему и прежде уже не раз приходилось удивляться куда как неожиданным всплескам читательского интереса к себе. Так было после Первой мировой войны, когда писатель был буквально завален письмами главным образом молодых людей, разочарованных, утративших ориентацию в потрясенном мире. Так было после Второй мировой войны, когда в его родном городе Кальве экземпляр только что вышедшего романа «Игра в бисер» продавался за 25 фунтов муки — поистине приравнивался к хлебу насущному. Вообще было уже замечено: интерес к Гессе всегда достигал кульминации в кризисные времена, когда люди пытались найти утраченные ориентиры, обрести новую опору взамен поколебленных, рухнувших.

Пожалуй, нечто похожее можно наблюдать сейчас и у нас. На русском языке уже опубликованы практически все важнейшие произведения Гессе, и мы способны их осмыслить в чем-то иначе, нежели сорок лет назад. Нет, тогдашние времена тоже отнюдь не были нормальными (да и какие времена в нашем веке можно назвать не кризисными?) — но все же, разве не по-новому трогают нас среди нынешних потрясений и метаний, скажем, строки из гессевского письма 1931 года:

Подлинная, достойная человека жизнь в наше время, среди духа, порожденного нашим временем, абсолютно невозможна... Эта атмосфера лжи, алчности, фанатизма и жестокости... Моя жизнь часто подобна аду.

2

Какие, однако, основания были говорить так у этого человека, чья жизнь на внешний взгляд вовсе не выглядит такой уж бедственной? Он родился 2 июня 1877 года в тихом швабском городке Кальве в семье протестантского миссионера, довольно рано добился литературного успеха, большую часть жизни прожил в нейтральной, не втянутой в мировые потрясения Швейцарии, в 1946 году за роман «Игра в бисер» был удостоен Нобелевской премии и закончил свои дни 9 августа 1962 на вилле, подаренной ему в пожизненное пользование богатым меценатом, в солнечной швейцарской деревушке Монтаньола. В последние годы жизни Гессе на воротах виллы висела табличка с просьбой не беспокоить — в представлении многих он и был «монтаньольским отшельником», спокойным мудрецом, отрешенным от забот и несчастий суетного мира.

Все это так, — однако есть своя правда и в цитированных словах писателя о жизни, подобной аду. С ранних лет эта жизнь была отмечена душевными кризисами, болезненными, мучительными, порой на грани срыва попытками обрести хотя бы недолгое равновесие между собой и миром. Сам Гессе не всегда мог отдать себе отчет в причинах такого разлада. По воспитанию и традициям он принадлежал этому миру — и в то же время внутренне как бы сопротивлялся ему, стремился из него вырваться. Вся его жизнь была полна разного рода побегов, разрывов, самопреодолений — начиная с побега из Маульброннской монастырской семинарии, куда он был отдан родителями на учебу; и то же самое можно сказать о многих его героях, начиная с Петера Каменцинда. Была юношеская депрессия, неудачная попытка самоубийства, пре-

бывание в больнице для душевнобольных. «Если бы вы могли заглянуть в мое нутро, — писал он оттуда в 1892 году, — в этот крошечный ад <...> вы пожелали бы мне смерти». Были тягостные семейные драмы (отголоски одной из них можно уловить в романе «Росхальде»), было безденежье, тяжелые многолетние болезни. Но, несомненно, самым драматичным оказалось для писателя духовное потрясение, вызванное Первой мировой войной, — после ненадолго обретенного было успокоения она вновь пробудила у Гессе «мысль о тлеющем под ногами аде, ощущение угрозы катастрофы».

Оказавшись к тому времени в нейтральной Швейцарии, писатель включается в антивоенную деятельность, подвергается за это ожесточенным нападкам. Обострившаяся вновь депрессия заставила его в 1916 году обратиться к психоаналитикам — факт, оказавший большое влияние на все последующее творчество Гессе. А дальше — приход к власти в Германии фашистов, Вторая мировая война. Конечно, саркастически замечал Гессе в одном из писем по поводу расхожих суждений о себе, мы «во время гитлеровщины и войны спокойно <...> сидели себе в солнечном Тессине и “обжирались пряниками”... Что наши сыновья год за годом несли солдатскую службу <...> что из-за Гитлера и авиабомб погиб весь труд моей жизни, а родные и близкие моей жены задушены газом в гиммлеровских лагерях — это для людей, ожесточенных войной и всякого рода горем, не стоит и упоминания»...

Нет, долгую жизнь этого человека никак не назовешь безоблачной. И дело даже не просто во внешних обстоятельствах. Художник, мудрый и всезнающий в своем творчестве, бывает более других уязвим, неуверен и беспомощен в жизни реальной. Гессе во многом имеет в виду самого себя, описывая в романе «Росхальде» преуспевающего на вид героя, который «глубоко страдал под гнетущим бременем бесчисленных неудачных дней и лет, неудачных попыток научиться любить и жить». А в романе «Игра в бисер» писатель еще более определенно говорит о «трагизме, присущем всякой отданной духу жизни».

Все, что делал Гессе, во многом было попыткой осмыслить, выразить этот трагизм — но тем самым и преодолеть

его: своего рода способом самотерапии. Не потому ли и многочисленные читатели в разные времена находили в его книгах помощь, утешение, объяснение собственных проблем? «Тот факт, что многие, преимущественно молодые люди находят в моих сочинениях нечто, внушающее им доверие, — писал Гессе, — я объясняю так: на свете есть много людей, которые сходным образом страдают, борются за веру, за смысл собственного существования, сходным образом отчаиваются в своем времени и, однако, почтительно прозревают за ним, как и за любым временем, нечто божественное <...> Они находят во мне человека, высказывающего их мысли <...> Возможно... единственное утешение, которое они у меня черпают, состоит всего лишь в том, что у меня, человека знаменитого, они обнаруживают собственную слабость и собственную боль».

3

Начав со стихов и романов в традиционно-романтическом духе, Гессе за десятилетия творчества создал свой особый тип интеллектуального повествования; слова его вершинного сочинения об «игре в бисер» как об «игре со всем содержанием и всеми ценностями нашей культуры» словно бы предвосхищают нынешние постмодернистские декларации. Он отнюдь не игнорирует эмпирическую реальность со всеми ее красками, звуками, запахами, описаниями, подробностями; но с полным основанием можно сказать, что главные события его книг, начиная, пожалуй, с «Демияна», развертываются все же во внутреннем, душевном мире; главной проблематикой оказывается проблематика духовная. Поучительно сопоставить в этом смысле два его путешествия на Восток. Одно, реальное, было предпринято в 1911 году. Гессе на пароходе отправился в Индию (как мечтал герой романа «Росхальде») — однако вернулся раньше времени: поездка не принесла ему ничего, кроме усталости и разочарования, свидетельством чего стала книга путевых очерков «По Индии» (1913). Подлинной встречей с Востоком была встреча ду-

ховная; роман «Паломничество в страну Востока» (1931) не имеет прямого отношения ни к реальной Индии, ни к реальному Китаю, это путешествие воображаемое, из тех, что совершаются «не на корабле и не на поезде», и персонажи его — скорее символические фигуры, нежели живые люди. Эту особенность поэтики Гессе вообще важно иметь в виду.

Мое внимание как-то привлекло примечательное совпадение. На какую отповедь натолкнулся однажды Гоголь, вздумавший (задним числом) утверждать, что в своем «Ревизоре» он изобразил вовсе не реальных персонажей, а некие символы. «Всмотритесь-ка в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что такого города нет во всей России <...> Ну, а что если это наш же душевный город, и сидит он у всякого из нас?.. Ревизор этот — наша проснувшаяся совесть <...> Хлестаков — ветренная светская совесть, продажная, обманчивая совесть... Лицемеры — наши страсти». И т. д. Актер М. Щепкин отвечал ему в мае 1847 года: «До сих пор я изучал всех героев “Ревизора” как живых людей... Оставьте мне их, как они есть <...> Не давайте никаких намеков, что это не чиновники, а наши страсти <...> Нет, я их вам не дам!.. После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор я не уступлю вам Держиморды, потому что и он мне дорог».

Оставим сейчас в стороне вопрос, насколько в своем объяснении Гоголь лукавил (пусть даже с самим собой — так смутила его общественная реакция на постановку пьесы). Наше непосредственное чувство противится этому объяснению — хочется согласиться со Щепкиным. Между тем почти буквально схожее толкование своего метода обосновывает Гессе:

В нашем современном мире <...> есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многоликость души. Кто хочет познать это, должен решиться взглянуть на персонажей такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя).

Не случайно такое сопротивление у Гессе вызывала мысль об экранизации его произведений; даже иллюстрировать их, наверно, не просто — хотя при желании можно увидеть в его персонажах и живых людей, с внешностью, характерами и судьбой. Зато поистине бескрайнее поле представляют эти книги для всевозможных комментариев, толкований. Гессе — один из тех писателей, литература о которых давно превысила объемом все, написанное ими самими. Как-то я получил приглашение на конференцию о творчестве Гессе; одни названия докладов чего стоят! «Проблема “раб и господин” у Лейбница, Гегеля и Гессе», «Мир и символ в хромотопной структуре “Степного волка”»... Автор «Игры в бисер» — «свой» писатель для филологов и культурологов, лучше самих сочинителей знающих, что художественный текст обогащается новыми смыслами и обретает иную ценность, введенный в контекст разнообразнейших связей. Ведь для адептов этой игры в романе, по их собственным словам, не существовало «непосредственного» отношения к искусству как к «проявлению божественного начала»; подлинное содержание открывалось для них в анализе соотношений, символических соответствий, формальных и технических средств.

Но я не филолог, а писатель, и я помню, какое внутреннее сопротивление вызвали у меня в свое время уже на первых страницах романа слова о принципиально «нетворческом» характере касталийской духовности: ведь здесь не просто провозглашен был «полный отказ от создания произведений искусства», но запрещено всякое художественное творчество.

Надо было дочитать роман до конца, чтобы убедиться: герой романа, Магистр игры Йозеф Кнехт отнюдь не случайно этот запрет нарушил и выступил, подобно самому Гессе, в роли писателя и поэта.

4

При чтении Гессе вообще не стоит спешить с выводами и возражениями. Даже в пределах одной книги сплошь и рядом определенной, казалось бы, точке зрения

противопоставляется прямо противоположная, и обе они могут быть близки писателю. Это важная особенность не только его творческого метода, но вообще мировоззрения; она выражает представление Гессе о противоречивости, полярности самой жизни, о необходимости постоянно «раскачиваться между полюсами». «Я не сторонник твердого, точно сформулированного учения, — писал он, — я человек становления и поисков <...> Несомненно, иной тезис в моих книгах противоречит другим тезисам тех же книг — с этим я не спорю. Совокупность моей жизни и творчества не предстала бы возможному наблюдателю как гармония — скорее как непрерывная борьба и непрерывное, хотя и не лишенное веры, страдание».

В «Письме обывателю» 1915 года Гессе рассказывает, между прочим, эпизод, когда случайный попутчик в портовом городе взялся показать ему местные увеселительные заведения. Писатель был шокирован. «Оскорбляло меня не то, что в мире есть мерзость и свинство; на это я мог не обращать внимания. Но то, что эту сторону мира, которую я презираю и отвергаю, я однажды принял спокойно к сведению, так что могло показаться, будто я одобряю и эти вещи... — вот что осталось сидеть во мне занозой».

Не правда ли, в этой реакции смущает элемент — как бы выразиться осторожней — некоторого чистоплутства? Одно дело по-человечески презирать и отвергать мерзости реальной жизни, другое — свысока их игнорировать; писателю-то по крайней мере вовсе не грех принять их к сведению... Но вот герой романа «Степной волк» (1927), отчаявшийся, близкий к самоубийству интеллектуал Гарри Галлер, которого Гессе несомненно наделил некоторыми своими чертами и мыслями, уже сам ищет встречи с этой чуждой ему прежде жизнью, он идет в эти самые увеселительные заведения с проститутками, джазменами, он учится танцевать современные танцы (как пробовал им учиться одно время и сам писатель), он даже пробует наркотики...

Конечно, право читателя и тут усомниться, насколько похожи в этом романе Германа и Мария на реальных проституток, в подходящие ли уста бывают порой вложены столь интеллектуальные, утонченные суждения, действи-

тельно ли балующийся наркотиками саксафонист Пабло обладает некой простейшей, но в то же время высшей мудростью — и не поспешна ли чрезмерная готовность Гарри Галлера признать их безусловное превосходство над собой, поступиться своим интеллектуальным и духовным первородством? Ошибется, однако, тот, кто сочтет Гессе именно своим союзником в этом споре. Для него и здесь речь прежде всего идет о борьбе, происходящей в собственной душе, о противоположностях внутри единства, о взаимоотношениях жизни и духа, которые скорей для большей наглядности, разъединены и персонифицированы — как это часто бывает в его книгах.

«Ты стоишь на стороне культуры духа, — говорит Иозефу Кнехту в романе «Игра в бисер» его антагонист Плинио Дезиньори, — я — на стороне естественной жизни <...> Твоя обязанность — показывать, как естественная, наивная жизнь без духовной дисциплины непременно становится пучиной порока, ведет к животному состоянию и еще дальше вспять. А я обязан снова и снова напоминать о том, как рискованна, опасна и, наконец, бесплодна жизнь, которая зиждется на чистом духе».

Есть ли смысл возражать, что в реальности эти ипостаси нашего существования не бывают так абсолютно и стерильно разделены, что в каждой конкретной, равно как и в общей жизни природное и духовное сочетаются (и что высокий интеллект и культура, кстати, вовсе не обедняют, а, наоборот, способны обогатить сферу «непосредственных» чувств)? В этом удивительном романе Гессе с необычайной изобретательностью конструирует некий особый, автономный, как бы экспериментальный мир, утонченный, стеклянно-прозрачный, едва ли не призрачный — но в то же время на редкость достоверный и убедительный в своей внутренней логичности. Не стоит, правда, слишком пристально проверять этот мир на соответствие реальности.

Действие романа перенесено в XXIII или XXIV век, но персонажи предпочитают передвигаться не в автомобилях, а в каретах среди природы, почти не тронутой цивилизацией; из технических изобретений упомянуто разве что радио. Это будущее, по сути, условно, в нем скорей законсервированы дорогие писателю — и уже при его жизни

подверженные угрозе — черты настоящего: просто надо же было куда-то поместить вымечтанную провинцию чистой духовности. Нет, не будем обсуждать ее с точки зрения житейской или исторической достоверности. В мире Касталии, скажем, практически нет женщин — как будто другому полу безо всяких объяснений попросту отказано в высокой духовности; от проблемы же плотских искушений, веками допекавшей все монастырские сообщества, летописец Касталии скорей лукаво отмахивается: вольность здешних нравов, сообщает он, позволяет касталийским обитателям просто сожительствовать с дочками окрестных бюргеров до их замужества. Право, нет смысла уточнять, устраивает ли это самих бюргерских дочек и хватит ли их на всех касталийцев. Перечитывая роман не впервые, заранее знаешь, что многие из возможных оговорок Гессе сам держит в уме, но как бы игнорирует их до поры, чтобы сосредоточиться на главном.

5

Касталийский орден был создан первоначально небольшой группой служителей духа в ответ на катастрофические потрясения эпохи, когда люди оказались как бы «лицом к лицу с пустотой». В такие времена зарождаются идеи наподобие той, что выразилась когда-то в стихах В. Брюсова:

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светлы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

Речь идет о людях, которые более других осознают насущную необходимость «хранить верность духу и изо всех сил оберегать в эти годы ядро доброй традиции, дисциплины, методичности и интеллектуальной добросовестности <...> Эта строгая школа необходима для дальнейшего существования цивилизации. Люди знают или смутно чувствуют: если мышление утратит чистоту и бдительность, то вскоре перестанут двигаться корабли и

автомобили, не будет уже ни малейшего авторитета ни у счетной линейки инженера, ни у математики банка и биржи, и наступит хаос».

Гессе писал свой роман в годы, когда на его родине, в Германии установилась фашистская диктатура, и главная угроза духу исходила от ее воинственной, насильственной идеологии. Мы у себя тоже не понаслышке знаем, что такое стремление к тоталитарному господству над умами, когда «сколько будет дважды два, решает не факультет, а наш господин генерал». С крушением тоталитарных диктатур проблема, однако, не исчезла, разве что сместились акценты. На исходе века, может быть, как никогда прежде обострилась, среди прочего, другая опасность, о которой в романе говорится особенно много: опасность «деморализации духа, инфляции понятий» перед лицом захлестывающей мир «массовой культуры».

Сколько язвительных строк посвящает Гессе так называемой «фельетонной эпохе», когда миллионы людей поглощают всевозможную духовную жвачку, равнодушно взирая, «как погибают не только искусство, дух, нравственность, честность, но даже Европа и “мир” вообще». Противостоять этой гибели и призван в романе касталийский орден, возникший «благодаря духовной потребности усталых, истекавших кровью и одичавших народов в порядке, норме, разуме, законе и морали». Его задача и служение — сохранять и культивировать эти ценности. Но, очевидно ведь, не просто ради них самих — и тем более не ради своей возвышенной, и все же абстрактной, отчужденной от жизни игры.

Вот тут-то проблема и обнаруживает свою другую сторону.

В романе не раз возникает сопоставление Касталии с монастырями, которые в разные века играли роль очагов духовности, образования и культуры среди погруженного во тьму мира, где для преобладающей массы людей даже простая грамотность бывала недоступна. Постепенно выявляется, однако, существенное отличие. Монастыри, при всей своей обособленности от мира, все-таки были обращены к нему, служили ему, осуществляли с ним постоянную связь, даже нередко влияли на текущую поли-

тику. Сюда приходили за поучением и утешением, отсюда шли в мир проповедники. Касталия несравненно более замкнута в себе. Касталийцы чем дальше, тем больше склонны культивировать свои ценности скорее для самих лишь себя. Они не просто чужды мирским проблемам, они смотрят на них свысока, ничего по сути не видя в этом внешнем мире, кроме грязной политической борьбы, банковских и биржевых спекуляций, игры честолюбий, кроме пороков и суетных страстей. Для них это именно «другой мир, где царили не дисциплина и духовность, а инстинкт».

Однако опять же: существует ли в самом деле столь абсолютное разделение и противопоставление? К слову сказать, духовность самих касталийцев отнюдь не выглядит такой уж беспримесно возвышенной; в Педагогической провинции мы замечаем свою борьбу честолюбий, карьеризм, зависть, подсиживание. И действительно ли ничего, кроме инстинктов, нет в «некасталийском» мире, в обыденной человеческой жизни, с семейными заботами, воспитанием детей — и, между прочим, любовью, о которой касталийцы так мало знают? Да, люди непосвященные не могут равняться с ними образованностью, их художественные вкусы не столь утончены, их развлечения и музыка могут показаться вульгарными. Повседневный труд, нередко однообразный и изматывающий, оставляет этому большинству слишком мало досуга для выработки более высокого вкуса, да и у кого научиться ему, если Педагогическая провинция столь замкнута в себе? А ведь, между прочим, этот труд обеспечивает касталийцам возможность их возвышенных занятий, и уже хотя бы потому мир вправе ждать от тех, кто называет себя духовной элитой, не просто высокомерной, едва ли не брезгливой отстраненности.

Что такое вообще «элита» в понимании Гессе? Речь идет о категории людей, ни в коей мере не претендующих на власть, богатство и какие бы то ни было внешние привилегии, — наоборот, они отстраняют от себя все это; их никак не следует отождествлять с теми, кого нынче называют «истеблишментом». Наверное, человеческое сообщество инстинктивно выделяет из себя этот слой, движимое

некой объективной потребностью — может быть, потребностью в самосохранении. Ибо функция этих людей, как уже было сказано, — создавать, сохранять, культивировать жизненно важные для сообщества ценности, то есть как бы вырабатывать своего рода духовный фермент, обеспечивающий здоровое существование социума, оберегающий цивилизацию от загнивания и вырождения. Ни в одном обществе такие люди не могут составлять большинства. Возможно, имеет вообще смысл отчетливо признать, что культура всегда существовала и, видимо, будет существовать на разных уровнях; проблема, однако, в том, чтобы эти уровни не были отчуждены друг от друга. Речь идет о их соотношении и взаимовлиянии. Утопично полагать, будто «элитарная» культура может, да и должна стать когда-нибудь всеобщим достоянием; но беда и гибель, если «массовая» культура станет самодовлеющей, вытеснив или подменив представление о иных ценностях.

6

Одна из сторон той же проблемы — отношение к «внешней стороне цивилизации», как характеризуют касталийцы науку и технику. В самих этих словах уже слышится некий пренебрежительный оттенок. Гессе вообще оказался весьма чутким к комплексу современных проблем, связанных с темой технического прогресса или, например, экологии, остроту которых мы на исходе века ощутили как никогда прежде. В одном из знаменитых эпизодов «Степного волка» Гарри Галлер, попавший в «магический театр», читает там призыв начать охоту на автомобили, а заодно «поджечь наконец фабрику и немного очистить, немного опустошить поруганную землю, чтобы снова росла трава, чтобы запыленный цементный мир снова превратился в леса, луга, поля, ручьи и болота».

Знакомые и такие понятные призывы, не правда ли? Если вернуться к обитателям Касталии, то они действительно сохранили вокруг себя нечто вроде островка былого, нетронутого мира; о «внешней», а для них по сути нижней стороне цивилизации, о науке и технике они по-

просту знать не хотят — как, между прочим, и о нуждах тех, кто живет в другом, не столь идиллическом мире, но кому именно наука и техника обеспечили (во всяком случае, если говорить о наших днях) достаточно высокий уровень благополучия.

Гессе не мог не ощущать здесь проблемы. Прекрасно духовное паломничество в идеальную страну Востока; но совершив путешествие по реальной Индии, писатель не мог не увидеть рядом с дивными храмами и погруженными в медитацию мудрецами толпы ужасающе нищих, голодных людей. Не приходили ли ему тогда на ум слова, вроде сказанных однажды Чеховым по поводу толстовства о том, что в электричестве и паре больше любви к человечеству, чем в вегетарианстве и непротивлении злу?

«При всем содеянном ею зле, — писал Станислав Лем в книге «Сумма технологии», — именно наука вызволила значительную часть человечества из голодного существования <...> тогда как фундаментом всех религиозных доктрин азиатского образца является именно равнодушие — столь же возвышенное, сколь катастрофическое по своим последствиям, — равнодушие к массовым проблемам, к проблемам непрерывно растущего человеческого коллектива <...> Убеждение этих мыслителей, будто отдельным людям достаточно жить, следуя прекраснейшим этическим нормам, которые вытекают из самой гармоничной религии, и тогда автоматически возникнет идеальная гармония в масштабе всего общества, — это убеждение столь же ложно, сколь и соблазнительно <...> Таким путем могут “спастись” лишь одиночки, и те, кто ищет умиротворения, несомненно могут найти его в буддийских монастырях (тому есть примеры), но ведь это же типичный уход от действительности, если не сказать — интеллектуальное дезертирство».

«Это был утонченный вид бегства», — несколько иными словами, но по сути о том же скажет Герман Гессе устами своего героя о касталийской жизни. Он сам всегда знал и другую правду, — может быть, потому, что был все-таки писателем, а литература ведь не может стать либо на сторону чистого духа, либо на сторону природной жизни, она связана с тем и другим и по сути своей призвана осу-

ществлять между ними посредничество. Не только Магистр игры в бисер, но и оппонент Касталии Плинио Де-зиньори высказывает свои собственные выстраданные убеждения; как часто бывает у Гессе, этот двойник и антагонист Иозефа Кнехта — другая ипостась самого автора.

Разве это не искусственный, не стерилизованный, не пандантно урезанный, не половинчатый, не иллюзорный лишь мир, где вы трусливо влачите свое существование, мир без пороков, без страстей, без голода, без соков и соли, мир без семей, без матерей, без детей, даже почти без женщин!.. Без забот о хлебе и без особо обременительных обязанностей вы ведете паразитический образ жизни, усердно занимаясь, чтобы не скучать, всеми этими учеными тонкостями <...> в то время как там, в мирской грязи, бедные, замученные люди живут настоящей жизнью и делают настоящее дело.

И это, несомненно, другая сторона правды — хотя тоже не вся правда. «Я никогда не жил в Касталии», — признавался Гессе в одном из писем. Он уводит оттуда и своего любимого героя Кнехта — уводит в мир, к людям, где тому предстоит погибнуть ради некоего более высокого служения.

7

Подлинно заинтересованное чтение Гессе предполагает неизбежный спор с ним; он ведь и сам всю жизнь спорил с самим собой. Но нет ничего плодотворнее такого спора — он поощряет и обогащает ищущую мысль. «Среди всех немецких поэтов я больше всего благодарен Гете, — заметил как-то писатель, — он занимал меня больше всего, угнетал, ободрял, понуждал следовать за ним и с ним спорить. Он не был поэтом, которого я больше всех любил <...> Но ни один из любимых мною поэтов не стал для меня серьезной проблемой и важным нравственным стимулом, ни с одним мне не приходилось вступать в борьбу и выяснять отношения, тогда как с Гете я вынужден был постоянно вести мысленные разговоры и мыс-

ленные бои (один из них — один из сотен — изображен в «Степном волке»).

Не лишне упомянуть здесь еще один спор, представляющий сейчас для нас, пожалуй, особый интерес. Речь идет о споре с русской духовностью, или, как выразились бы теперь, русским менталитетом, нашедшем наиболее яркое выражение в статьях 1915—1919 года о Достоевском и Толстом. Писатель переживал тогда один из самых острых в своей жизни кризисов, связанных с Первой мировой войной. Для него война означала кризис европейского духа как такового, предвещавший в будущем еще более драматические потрясения, — и он во многом связывал его с влиянием на западный мир, прежде всего на западную молодежь, гигантов русской литературы.

Гессе, подчеркнуто называвший себя «европейцем, всю жизнь исправно практиковавшим западные добродетели», выстраивает следующую примечательную оппозицию. В то время как европеец, по его словам — «оформленный исторический тип», тип русского человека он называет пока еще «бесформенным материалом будущего <...> К нему не применима европейская, то есть твердая морально-этическая, догматическая точка зрения. В этом человеке внешнее и внутреннее, добро и зло, Бог и сатана неразрывно слиты».

Именно в силу этих качеств, по мысли Гессе, тип русского человека приобретает ведущее значение в эпоху всеобщего культурного кризиса. «Любое формирование человека, любая культура, любая цивилизация, любой порядок основываются на соглашениях относительно разрешенного и запрещенного». Но во времена, «когда устает и начинает шататься культура», когда опасные, но до сих пор крошечные инстинкты выходят на поверхность, — тогда «всякое добро и зло становятся сомнительными, а всякий закон — зыблемым».

Именно такого рода тенденции наметились в мире в результате мировой войны. «Идеал Карамазовых <...> начинает пожирать дух Европы», — так формулирует происходящее писатель в статье с характерным названием «Братья Карамазовы, или Закат Европы» (1919). Что же за идеал имеется в виду? Главная его черта, по словам Гес-

се, — это опять же «отказ от всякой нормативной этики и морали в пользу некоего всепонимания, всепринятия, некоей новой, опасной и жуткой святости».

Тут примечателен оттенок: не всеотрицание, а всепринятие, всепонимание. Определяющим является отказ от ограничений, критериев, правил, норм, что порождает «совершенно аморальный образ мышления и чувствования». Мы еще увидим дальше, что в таком развитии писатель видит не только отрицательные стороны, он считает его неминуемым и нужным этапом для дальнейшего возрождения духа. (Еще ведь, кстати, не написан «Степной волк», ставший свидетельством попытки самого Гессе пройти через этот этап, через увлечение аморальным, отказ от правил бюргерской добропорядочности.) Любопытно, однако, что угрозу европейскому духу Гессе усматривает именно с Востока — словно игнорируя внутризакпадные, а по сути, общемировые тенденции. Ведь в самой Германии к тому времени уже начинал зарождаться фашизм, который обойдется, в общем, без Достоевского; провозглашая, среди прочего, отказ от сдерживающих норм морали, он назовет в числе своих вероучителей другого, вполне западного мыслителя, Ницше, автора книги с неслучайным названием «По ту сторону добра и зла».

Пожалуй, Гессе вряд ли в ту пору представлял, насколько катастрофическим на самом деле окажется европейское и общемировое развитие в XX веке. Но он уловил что-то действительно очень важное. Сейчас, когда и этот век уже позади, написанное им много лет назад опять же обретает новую и в чем-то неожиданную актуальность. Взять, например, хотя бы его слова о новой культуре, для которой характерной будет «обратимость каждого установления, равнозначность данного и противоположного полюсов». Современные культурологи на разный лад пытаются осмыслить нынешнюю реальность, которую некоторые из них — с долей условности — называют постмодернистской. Эта реальность, по их словам, сформировала и новый тип человека, ни морального, ни аморального, ни доброго, ни злого — скорей безразличного ко всем традиционным категориям. Человек потребительского, рыночного общества становится всеяден, ему «все годится». В постмодернист-

ском мире, мире компьютерной, электронной цивилизации по сути не осталось иерархий, здесь действительно стираются критерии и предпочтения; добро и зло, красота и безобразия существуют на равных — как элементы некоей мозаики. И если идеологии былых времен предлагали нам те или иные системы смыслов, оценок и предпочтений, то сейчас можно говорить скорей о любовании хаосом...

Да, вряд ли сам Гессе предполагал, что предсказанное им в какой-то степени развитие примет именно такие конкретные черты. В его Касталии чтут правила игры — ибо что такое игра без правил? В XXIII или XXIV веке здесь все еще культивируют классическую музыку — музыку даже допетровских времен, с верностью канонам, с гармонией, предполагавшей определенную иерархию звуков в тональной системе, представление о созвучиях запрещенных и созвучиях разрешенных. Писатель как будто игнорирует наметившуюся еще при его жизни реальную эволюцию музыки, в которой его современник и друг Томас Манн, автор «Доктора Фаустуса», проницательно усмотрел своего рода символ общекультурного развития: «рациональность <...> очень смахивающую на суеверие — на веру в неуловимо демоническое, находящее пищу в азартных играх, карточных гаданьях, жеребьевке, толковании примет»...

Но ведь развитие это произошло прежде всего как раз на Западе и оказалось характерным для Запада в гораздо большей степени, чем для России. В литературных и культурологических дискуссиях последнего времени звучал порой как раз обратный, чем у Гессе, упрек по адресу русской литературы, которая оказалась, дескать, слишком благостной, слишком моралистичной, которая игнорировала зло и жестокость реальной жизни, предпочитая держаться за некие идеалы — и в каком-то смысле оказалась даже совиновой в пережитых страной трагедиях, поскольку не подготовила умы и души к реальности этого зла.

Гессе вряд ли согласился бы с такого рода упреками. Но, как мы видели, он все же уловил действительно важную особенность того, что можно назвать русским традиционным менталитетом. «Идиоту сказали однажды, что он обязан говорить «да» лишь истине, только и всего, —

писал он в «Размышлениях об “Идиоте” Достоевского» (1919), — воспоследовало же нечто устрашающее! Вот так-то: все истинно, всему можно сказать “да”...» То есть речь опять же идет о размытости критериев, об отсутствии иерархий — однако заметим: при этом подразумевается все же представление о некоей истине, о чем-то, чему следует сказать «да», но не о нигилистическом всеотрицании. И это более чем существенно: ведь есть же разница между всеядным равнодушием, отказом от поиска истины — и страстной, пусть даже не знающей меры, страдальческой верой в нее!

Теперь уже и теоретики постмодернизма стали обращать внимание на эту особенную черту именно русской традиции: для нее даже радикальное отрицание скорей все же служит обоснованию абсолюта. Человек может вырываться за пределы общепринятых норм и правил — но не ради иррациональной, безграничной, саморазрушительной свободы. Нет, по ту сторону рациональных смыслов или даже безумия неизменно предполагается, мерцает нечто высшее, безусловное, к чему все-таки надо стремиться.

К подобному выводу приходит в результате всех поисков и сам Гессе. И своего читателя он в конечном счете приводит к мысли, что в любых грядущих потрясениях не следует видеть лишь бедствие и окончательную катастрофу, они — необходимый этап на пути обновления. «Как всякая смерть на земле, этот закат поведет к новому рождению», — писал он в уже упомянутой статье; и вот на этом-то пути, добавлял он, «нам понадобится культура души и религиозные ценности, а они лучше развиты у русских и азиатов».

Человек, по глубокому, выстраданному убеждению Гессе, вообще не должен убежать от потрясений; его задача — в мужественном приятии и преодолении хаоса. Это постоянная, пожизненная работа души. Путь каждого лежит от первоначальной невинности через кризисы, соблазны, отчаяние и мрак к новому, более высокому постижению бытия. Важно пройти этот путь достойно, не потеряв себя. И сам писатель словно подает нам здесь пример. Он предлагает пройти этим путем вслед за собой читателю — из ро-

мана в роман, где художественно претворен и преображен его собственный трудный опыт. И вот — «это уже не его мрак, не его боль и страх, это капля чистого света, вечной веселости».

8

Мы больше всего благодарны Гессе именно за это: за ободрение и поддержку в нашем собственном жизненном поиске. Но никаких готовых ответов писатель не предлагает и не подсказывает. Он знает, что важнее ответов бывает способность задавать вопросы, размышлять над ними самостоятельно, искать своих, и только своих решений. Любое учение, даже самые великие религии могут предложить лишь подспорье на пути самоосуществления, но проделать его каждый должен все-таки сам. Так, герой его романа Сиддхартха понимает однажды, что невозможно ничему научиться даже у самого Будды — кроме разве что одного: готовности и способности к этому самому духовному поиску. И тогда он решает «оставить все учения и всех учителей и в одиночку достичь своей цели или умереть».

Именно так отвечал Гессе многочисленным читателям и корреспондентам, которые в разные годы обращались к нему за советом или утешением. Нет, он не отказывал им, он отвечал им как мог, подробно, доброжелательно — но присовокуплял после всего сказанного: «Нигде не встретите вы пророка и учителя, который снял бы с вас тяготы поиска в обращении к себе самому».

Он ведь и сам находился в таком поиске до конца своих дней. Он никогда не называл себя знающим — только ищущим. Может, это и значит быть живым. И может, потому этот писатель продолжает так много говорить живущим сейчас.

«Человек не должен желать себе ни величия, ни счастья, ни героизма, ни сладких плодов, — говорит нам Гессе, — он вообще ничего не должен желать себе, ничего, кроме чистого, чуткого ума, храброго сердца, а также верности и мудрости терпения, чтобы благодаря им выносить и счастье, и страдания, и шум, и тишину».